**Властители дум: Миссия интеллектуалов и реформирование социальных наук в России.**

Батыгин Г.С.

Завершенная система воспроизводства знания, которую принято назвать «советским марксизмом», сложилась в 30-е годы. О марксизме (и ленинизме) в данном случае следует говорить лишь условно ‑ таково самоназвание этой странной системы знания, которая была вынуждена создать и легитимировать политический режим, направленный на преобразование социальной материи в совершенный социальный порядок. Во всяком случае, марксистский лексикон не должен препятствовать пониманию принципиальной метонимичности советского марксизма. Эта система знания, поддерживающая репрессивные социальные институты и поддерживаемая ими, представляет собой идейную химеру, пронизанную стремлением к уничтожению и одновременно конструированию призрачной реальности. «Идея-правительница» не знает покоя, постоянно стремясь к какой-то непонятной «практике» и одновременно отвращаясь от нее. Слово и дело не могут жить друг без друга, но и ужиться не могут. Кажется, советский марксизм не философско-политическая доктрина и не мировоззрение, а своеобычный настрой ума, возникающий от безысходности повседневного существования и устремленности к высокой речи. Этот настрой невозможно объяснить репрессиями власти против науки, поскольку сама власть была в значительной степени научным и литературным произведением. Особенность советской философии заключается как раз в том, что она была изначально инкорпорирована в систему воспроизводства власти и создавала ее сакрализованный текст. Гипотеза заключается в том, что именно преобразования текста (его жанровых форм, тематических репертуаров, аргументативных стилей, толкований, прецедентных текстов) приводили к радикальным изменениям в политических порядках. В этом отношении справедливо суждение, что Россия — страна слов.

Особенность социальных наук в России заключается в их ориентации не столько на интерналистские нормы производства дисциплинарного знания, сколько на легитимацию социальных идентичностей и создание идеологий. В этом отношении российское академическое сообщество является сообществом не профессиональным (автономным), а интеллектуальным, и интегрировано в систему воспроизводства и реформирования власти даже в том случае, когда возникает открытый конфликт с властью. Таким образом, постоянный конфликт русских интеллектуалов с властью может быть интерпретирован как «любовь-вражда». Если так, то отчуждение интеллектуалов не столько результат враждебного отношения к власти, сколько следствие чувства отлучения от власти. С этим сопряжена и их склонность отождествлять себя с «силой народа» — крестьянством, пролетариатом, примитивными сообществами, цветными расами, отсталыми нациями. Интеллектуалы это незаинтересованная идеалистическая элита, не имеющая отношения к практике и заботам материального характера. Они живут для идеи, ориентируясь в своем поведении на фундаментальные социальные ценности, стремятся утвердить моральные идеалы и символы, обладающие всеобщей значимостью. В определенном отношении они являются преемниками духовенства как хранителя священной традиции, и в то же время продолжают дело пророков, не имевших ничего общего с благополучием синедриона и синагоги. Интеллектуалы стремятся понять истину сегодняшнего дня, обращаясь к более высокой, всеобъемлющей истине, и поверяют свое обращение к фактам «бескорыстным долгом», считают себя хранителями абстрактных идей (истины, добра и справедливости). В определении интеллектуалов главное, конечно, не их профессиональный статус, а определенная установка сознания на критическое созерцание социальных ценностей и воспроизводство публичного дискурса. Обычно интеллектуалы кажутся аутсайдерами и в то же время хранителями подлинных ценностей и идеалов. Это создает явную напряженность в ожиданиях, которые к ним предъявляются со стороны общества. Интеллектуал должен быть одновременно совестью общества и революционером. Он думает и действует, как бы играя. Идеи имеют для него более чем инструментальное значение. В определенной степени интеллектуалы воспроизводят ценностно-ориентированное действие и тем самым являют собой фермент социальной мобилизации. Интеллектуализм представляет собой свободную, не связанную соображениями пользы умственную деятельность, сопряженную с претензией на моральное суждение, критическую позицию, игру и творческую оригинальность.

Интеллектуалы и публицисты артикулируют и обеспечивают трансмиссию «социального мифа»: идеологий, норм морали и права, картин прошлого и будущего. Они устанавливают критерии справедливого и несправедливого, достойного и недостойного, определяют представления о жизненном успехе и благосостоянии, сакральном и профанном. Соответственно, тематика социальных наук характеризуется выраженной дисциплинарной диффузностью. Позиция интеллектуала предполагает оперирование символами общественной значимости и их выражение в словах, звуке, цвете, образе. Вероятно, наиболее близки к интеллектуальной деятельности занятия литературой, искусством, философией. В меньшей степени интеллектуальной можно считать «несвободные» профессии — работу врача, инженера, юриста, военного, поскольку в них велика конституирующая роль профессиональных обязанностей и соответствующих им санкций. Писатель свободен в своем творчестве, менее свободен социолог, всерьез принимающий обязательство проверять гипотезы, но свобода юриста и инженера возможна лишь в той степени, в какой она выходят за пределы юридических и инженерных норм.

Возможность быть вне институциональных рамок и сохранять независимость, одновременно сохраняя доступ к общественным ресурсам, — примечательная особенность интеллектуалов. При этом независимость воспроизводится даже в условиях самого строгого контроля. Чтобы быть интеллектуалом, не обязательно заниматься наукой, литературой, искусством, нужно жить интеллектуальной жизнью. Поэтому особое значение в формировании статусной идентичности интеллектуалов имеют символические маркеры их стиля жизни: речевой стиль, внешний вид, круг чтения, этикеты, образ жизни.

Совокупный текст социальных наук в России представляет собой контаминированное образование, где сосуществуют и образцы эзотерической рефлексии, и инструментальные научные гипотезы, и идеологическая риторика. Общественная наука не только обеспечивала легитимацию социального порядка, но и создавала язык, с помощью которого устанавливалась идентичность обособленной, хотя и неоднородной, группы гуманитарной интеллигенции, своеобразного незримого колледжа. Коммуникативные ресурсы дисциплины были рассчитаны не на профессиональную аудиторию, а на общество в целом. В этом ее историческая уникальность. Вероятно, ни одна общественная наука в мире не обладала и не обладает таким влиянием на жизнь общества, каким обладала советская версия марксизма. Западная социальная наука замкнута на самое себя, социальные проблемы представляют для нее академический интерес, дистанция между университетской кафедрой и властью необозрима. Советское же обществоведение было идеологией в исходном смысле слова ‑ философия, социология, научный коммунизм создавали картины мира и транслировали их на многомиллионную аудиторию, используя для этого массовую печать, радио, телевидение, систему партийно-политической учебы, и, самое главное, проект практического переустройства общества разрабатывался идеологами. Вряд ли будет преувеличением сказать, что советский марксизм осуществлял власть над умами и, в той степени, в какой обществоведы участвовали в легитимации социальных порядков, власть над властью. Идея светлого будущего открывала перед общественной мыслью мир неограниченных возможностей. Коммунизм воспринимался не только как пропагандистский лозунг. Он содержал в себе предощущение свободы и торжества научной мысли. Смысл обществоведческой работы заключался, собственно говоря, в рационализации и развертывании будущего посредством критики настоящего. Посткоммунистический дискурс сохранил и смысл и стилистику интеллектуальной работы предшествующего периода.

Формирование обособленного слоя советских интеллектуалов связано с сословной организацией советского общества периода сталинизма. Революция 1930-х годов заключалась в перемещении социальной базы коммунистического режима на профессионально-управленческий слой. В конце 30-х годов институты Академии наук, университеты, творческие союзы, редакции и издательства представляли собой официальные учреждения, органы партийно-государственного управления. В то же время они обладали собственными интересами, стремились к автономии и усилению влияния на центральную власть. Революционные идеи рутинизировались и превратились в рациональные принципы, требующие исторического и логического обоснования. Концептуальный лексикон, схемы аргументации и риторика социальной науки приобрели завершенную форму. Однако как раз в то время, когда все казалось мертвым и застывшим, происходила революция в идеологии и общественной жизни. Она стала возможной благодаря поразительной дисциплинарной открытости советского марксизма. Доктринерская напыщенность, «идейная убежденность» и даже укорененный в подсознании страх не исключали возможности адаптации и версификации доктрины в самых неожиданных направлениях. В корпусе канонических текстов марксизма-ленинизма всегда находились фрагменты, необходимые для обоснования новых идей. Обнаруживая глубокое сродство с социальными учениями Просвещения, марксизм обладает огромным объяснительным потенциалом. Ясность и логическая стройность его категориальных схем удивительным образом совмещаются со способностью к версификации. Этим, вероятно, объясняется и многообразие исследовательских программ и концепций, разрабатывавшихся в рамках доктрины. Поэтому советский марксизм — не столько доктрина, сколько словарь, значения которого зависят от мыслительной позиции автора. Этот словарь может успешно использоваться и в качестве средства для воспроизводства альтернативных марксизму идей. Характерное для 1920-х годов противостояние «диктатуры» и всех социальных групп сменилось интеграцией институтов власти и «светского общества», ядро которого составили интеллектуалы. Легитимация режима основывалась уже не на противопоставлении буржуазных и пролетарских ценностей, а на идее стабильного общества.

Произошла аккомодация режима по отношению к культурным стандартам светского общества. В. Дэнхем считает, что в 1940-е годы в Советском Союзе сформировался средний класс, представлявший не столько социальную страту, сколько культурный слой. Именно в среднем классе сталинизм нашел свою социальную базу [1] . В определенной степени это был результат «обуржуазивания» и укрепления патримониальной бюрократии. В 40-е годы вполне обозначились рамки социального слоя, который можно назвать «золотой молодежью». «Александровские мальчики» получали значительные гонорары за совместительство на разных постах, обзаводились роскошными квартирами и дачами. Мемуарист имел основания назвать их стяжательско-карьеристской частью партийной и непартийной интеллигенции [2] . Богатство как таковое не означало принадлежности к этому слою, но принадлежность к информированным кругам, учеба в престижных университетах (МГУ, МИИФЛИ, МГИМО) создавали стратифицированное социальное пространство, где формировались анклавы межличностной коммуникации интеллектуалов. Круг общения был по преимуществу культурным: некоторые из них жили в благоустроенных квартирах и приезжали в университет на автомобиле, другие донашивали военную униформу. Мифология рабочего класса-гегемона, фундаментальная для дискурса 1920-х годов, существенно модифицировалась: на первый план выдвинулась идея руководства рабочим классом. Доктрина приобретала вид рациональной прагматической схемы, где проводилось отчетливое различение между словами и делами. С 1936 года коммунистическая идеология ориентировалась не столько на классовую борьбу, сколько на интеграцию общества. Лозунг усиления классовой борьбы был фокусирован на отчетливо определенных целях. В начале 1940-х годов интеллигенция заняла доминирующие позиции в социальной структуре и вполне осознала задачу реформирования социальных порядков как задачу создания нового лексикона власти. Вводились новые, расширяющие тематический горизонт коммунистической идеологии понятия «переходного периода» между социализмом и коммунизмом, «научного управления обществом», «преодоления пережитков прошлого». Критика «культа личности Сталина» считается поворотным пунктом в истории советской общественной мысли и началом «оттепели». Однако нельзя не учитывать, что «оттепель», обозначившая конфронтацию (пишущей) интеллигенции и бюрократизированной власти, сопровождалась взрывом коммунистической экзальтации. Троцкистская идея перманентной коммунистической революции стала основой анисталинского движения. В 1956 г. в одном из внутренних документов партии отмечалось, что «на философском фронте наблюдаются известные рецидивы меньшевистствующего идеализма, позитивизма, они носят и некоторый политический оттенок и даже в известной мере отражают настроения, которые идут по линии троцкизма. Эти настроения тоже в известной мере оживляются. Если не дать им серьезный и решительный отпор, они будут развиваться и дальше» [3] .

В 1950-е годы происходило активное реформирование советского марксизма, сопровождавшееся профессионализацией дисциплинарных областей общественной науки и освоением новой идеологической риторики. Автономизация новых дисциплин требовала, во-первых, обоснования их лояльности каноническому марксизму, во-вторых, создания специализированного языка, обособленного от языка публичной сферы. В результате «подлинно научная теория природы и общества» сохранялась как методологическая база и идеологическая декларация для формирующихся дисциплинарных автономий. Этот процесс сопровождался дискуссиями, чаще всего обусловленных борьбой внутри научного сообщества, наиболее важным результатом которых было перераспределение властных позиций и возникновение новых исследовательских программ. В 1956 году начался массированный выпуск переводной научной литературы, где наряду с марксистскими изданиями шли и те, которые еще недавно квалифицировались как «реакционные». Перечень имен в списке вышедших в свет переводных изданий свидетельствует сам за себя: наряду с книгами «марксистов» Дж. Бернала и М. Корнфорта вышли тома волгинской серии «Предшественники научного социализма» Д. Вераса, Т. Дезами, Морелли, третий том гегелевской «Энциклопедии философских наук», Д. Дидро, Ш. Монтескье и Б. Франклина [4] . Для молодого поколения советских обществоведов эти книги открывали новое духовное пространство, альтернативное «свинцовому» марксизму. Процесс диверсификации и профессионализации социального дискурса приобрел отчетливые формы уже в конце 1930-х годов, когда была реформирована система научных учреждений, но, вероятно, кардинальные и необратимые изменения были связаны с преобразованиями 1950-х годов. Основной мотив критической атаки на власть заключался в демонстрации ее несоответствия коммунистическим идеалам, утраты «ленинских» принципов и бюрократического перерождения. Искренней одухотворенностью и яркостью публицистической риторики интеллектуальная атака 60-х годов напоминала ликвидированную из исторической памяти атаку троцкистской оппозиции. Как и в 20-е годы акцентировалось соответствие институциональных порядков принципам революционной морали — честности, бескорыстию, идейности. Предполагалось, что само слово правды преодолевает идейный и нравственный коллапс советского режима. Чуждость государственно-бюрократических порядков «коммунистической правде» была отчетливо осознана не только в троцкистской, но и либеральной литературе. Опора Сталина — профессионалы, «знатные люди», — писал Г. Федотов. — Сталин создает новый служилый класс, он находит социалистические стимулы конкуренции в чудовищно дифференцированной шкале вознаграждения, в личном честолюбии, в орденах и знаках отличия, в элементах новой сословности. Образуется новая аристократия: ученые, писатели, инженеры. Для новых людей народнические и жертвеннические идеалы старой интеллигенции безразличны. Трудовой или художественный рекорд заменяет нравственные основы жизни. Интеллигенция — с властью, как в XYIII веке» [5] . Партийное руководство ленинского периода состояло из людей, глубоко вовлеченных в теоретические дебаты и претендовавших на интеллектуализм. В 1930-е годы, когда сложились основные институты государственно-политического управления, высшее образование имело незначительное количество секретарей обкомов. К началу 1940-х годов, когда борьба с «бурспецами» была прекращена, окончательно сформировалось сословие «новых мандаринов» (Н. Хомски) и более 60% секретарей региональных партийных комитетов имели высшее образование. Доходы писателей, артистов, профессоров многократно превышали средние доходы служащих и нередко были выше, чем обеспечение высших чиновников партии. Дело не сводилось к величине доходов. Именно в этот период интеллектуалы получили доминирующие позиции в светском обществе. Помимо обычного преподавания обществоведы обслуживали огромную сеть политического просвещения. В 1947 году в СССР действовали 60 тыс. политшкол, где обучалось: 800 тыс человек, а. В 1948 г. было уже 122 тыс. политшкол, в которых обучалось 1,5. млн чел. Соответственно, сообщество интеллектуалов стало резко стратифицироваться.

Социальная поляризация интеллектуального сообщества выражается, в формировании, с одной стороны, «высшего света», с другой — литературного пролетариата, «низов» (low-life, по выражению Р. Дарнтона [6] ). В советском интеллектуальном сообществе не было «низов», поскольку не могло быть свободного литературного заработка. Зато был интеллектуальный «полусвет», выполнявший ту же роль. Стремление «света» к кастовой закрытости и давление интеллектуального «пролетариата» способствует развертыванию кризиса легитимности социальных институтов, когда их самоочевидный характер уже не может поддерживаться в рамках привычных систем значений. Многие интеллектуальные пролетарии не испытывали крайней материальной нужды и могли отдавать значительную часть своего времени творчеству, лишь подрабатывая на жизнь. Само по себе разделение «подработки» и творчества, типичное для этой группы интеллектуалов, также свидетельствует об их интегрированности в институциональные порядки. Есть опасность в преувеличении дистанции между «высшим светом» и интеллектуальным пролетариатом. Вероятно, ключевым было разделение умонастроений, смысловых перспектив, точек зрения, а не социальных позиций.

Корпоративная организация общества предполагает корпоративную организацию культуры. Воспроизводство интеллектуального сообщества в коммунистическом режиме осуществлялось на основе статусных привилегий. Разумеется, кого-то приводил в высший свет талант, но и данном случае социальный лифт обслуживался «протектором». Протекция как социальный институт присуща любой стратифицированной системе профессиональной мобильности, но ее принципиальное отличие от профессионального достижения заключается в явном или неявном императиве личной преданности, своего рода патримониального доверия господина к слуге. Если такое доверие существует, открывается доступ к контролируемой протектором сфере привилегий, в том числе привилегии заниматься профессиональным интеллектуальным трудом. Доступ в систему производства знания обеспечивался покровительством, маркерами лояльности, членством в официальных творческих союзах, учеными степенями и званиями, а также корпорациями (официальными и полуофициальными). К таким, например, относилось членство в Доме ученых, Доме журналиста, Центральном доме литераторов). Своеобразными социальными институтами являлись «знакомства» — дружеские круги и «кружки» — альтернативные формы воспризнания. Создавая особые символические коды и средства опознавания «своих», интеллигентские круги интегрировались в универсальную статусно-корпоративную систему. Здесь действовали свои нормы стратификации и «табели о рангах», где, например, доступ к Самиздату имел большее значение, чем профессорское звание. Интеллектуальный «полусвет» создал литературные и философские жанры, близкие диатрибе и памфлету. Здесь требовались прежде всего эпатаж и «смелость» суждений, находившие отклик у массовой аудитории.

Формирование сословия советских интеллектуалов в 1960-е годы было сопряжено с изменением стилистики публичного дискурса: люди «болели» стихами. В списках распространялись стихи А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилева, М. Цветаевой, И. Бродского. Знание стихов стало своеобразным паролем для доступа к интеллигентский круг. Страсть к стихам породила и первые выступления против власти. 29 июля 1958 года в Москве был открыт памятник Маяковскому. Поэты читали стихи. Затем возникли спонтанные выступления, и чтения стихов стали происходить регулярно. Участниками встреч были преимущественно студенты. Когда власти попытались воспрепятствовать поэтическим сходкам, возникло сопротивление, и в 1961 г. были арестованы и осуждены за антисоветскую агитацию любители поэзии В. Осипов, Э. Кузнецов и И. Бакштейн [7] .

Противостояние интеллектуалов и власти не было разделено статусными позициями — это, скорее, противостояние стилей текстообразования. Тексты повышенной значимости, способствующие сплочению общества, требуют особой техники чтения и интерпретации — они подлежат частому и точному повторению. В традиционных обществах это преимущественно тексты сакрального характера, а в современных обществах такие тексты связаны с производством идеологий. Текст советского марксизма предназначался для того, чтобы заучивать его наизусть. «Овладение марксистско-ленинской теорией — дело наживное» — эта общеизвестная формула трактовалась как установка на преодоление заумных философских рассуждений, «жонглирования гегелевской терминологией» (аллюзия на «диалектиков»-деборинцев, «меньшевистствующих идеалистов») и «создания там, где надо, новой философской терминологии, понятной и доходчивой для каждого советского интеллигента» [8] . Философия, таким образом, совмещалась с общенародной склонностью к философствованию и политической грамотностью, и профессиональное сообщество, занимая достаточно высокие этажи социальной иерархии, непосредственно соприкасалось с «профанным низом». Лексикон философии и политической теории сводился к прецедентным текстам, аллюзиям и иносказаниям, обозначавших определенные фрагменты из корпуса первоисточников марксизма. «Единство мира — в его материальности, движение — способ существования материи, ощущение — субъективный образ объективного мира, мышление — свойство высокоорганизованной материи и продукт общественного развития, от живого созерцания — к абстрактному мышлению и от него к практике, практика — критерий истины и узловой пункт познания, Иван — человек, Жучка — собака» — эти формулы составляли содержание курса философии, преподававшегося в с конца 40-х годов и затем в течение 50 лет без существенных изменений.

Конституирование социального дискурса как системы канонических образцов, присущих имперской форме социальной солидарности, отчетливо проявилось в конце 20-х годов и завершилось кодификацией советского марксизма в конце 30-х годов. Эталон философствования был представлен прежде всего «Кратким курсом истории ВКП(б)», формулировки которого тысячи раз воспроизводились в научной, художественной и пропагандистской литературе. В этот же период институциализировались образцы художественной прозы и поэзии (Пушкин, Чернышевский, Горький, Маяковский), музыки (Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка), театра, изобразительного искусства, а также стандарты «культурности» труда и повседневной жизни. Общей смысловой доминантой организации советского социального дискурса было различение «высокого» и «низкого», различения, которому соответствовали, наряду с поэзией и «крупной прозой», второстепенные, не притязающие на литературность жанры, скажем, переводы, комментарии, газетная журналистика. Иерархической организации социального текста соответствует детализированная статусная стратификация культурной элиты. Эта стратификация находит выражение прежде всего в четкой иерархии «звезд», привилегиях в нормах потребления, которые делали жизнь философов и поэтов сравнительно благополучной, но, кажется, главное ее предназначение заключалось в воссоздании сакрального института «вдохновенного авторства», определявшего критерии высокой литературности. Таким сакральными авторами были Пушкин, Гегель, Маркс, Ленин. Советская философская проза наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом. В той степени, в какой в публичный дискурс включалась научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии. Вероятно, возникновение марризма, «лысенковщины», и других научных сект, связано с предрасположенностью массового сознания к вдохновенной эзотерической речи.

Работа по легитимации новых форм знания начинается, как правило, с опровержения ересей и объективации идейных «врагов». Когда доктрина утверждается в качестве истинной, образ врага продолжает воспроизводиться в качестве необходимого средства сохранения идеологии. Эта техника производства дискурса (сакральных текстов, закона, исторического мифа) связана преимущественно со стихотворной речью, которая в античной традици считалась боговдохновенной. Платон представляет поэзию как разновидность священного безумия. Романтическое противопоставление вдохновения рутине повседневности стало одной из смысловых доминант новоевропейской культуры. Отличие интеллектуала от «техника» и «ремесленника» вытекает, собственно говоря, из аллюзии на априорную истинность неистовых, вдохновенных суждений, несовместимых с обоснованием и техниками аргументации. В этом отношении имперский дискурс поэтичен по преимуществу и разрушается при любой попытке прочтения с помощью рациональной аргументации. Система референций замкнута здесь самим текстом, который подлежит уяснению и высокому эзотерическому истолкованию. В этом отношении часто встречающееся в советской философской литературе 1950-х годов указание на «талмудизм и начетничество» обнаруживает необходимость нового прочтения и реформирования канонического текста. В той мере, в какой природа социального порядка перестает восприниматься как очевидная, в той степени, в какой исследуются и ставятся под вопрос основные нормы общественного устройства, нарушается воспроизводство социальной солидарности, которая не может основываться исключительно на рациональном рассуждении и требует возвышенной речи. В этом обнаруживается пристрастие интеллектуалов к власти. Вера в разум и рациональный порядок ведут к противоположному — отсутствию реализма и рациональности, прежде всего по причине иррациональной увлеченности рациональными схемами. В результате возникает воображаемое общественное устройство, внешне рациональное, но по своему существу художественное. Литературные увлечения и пристрастия, привнесенные в в жизнь, заражают ее духом театральности и надуманности. Увлеченные великими проектами переустройства мира, «люди слова» стремятся к практике и одновременно отвращаются от нее.

Транспозиция эстетического воззрения в область социального устройства влечет за собой взгляд на людей как на сырой материал, подлежащий перевоплощению и очищению. В этом отношении дух утопии является по преимуществу эстетическим. Склонность властителя к театру, сочинению стихов, музыке, живописи являет собой симптом тотального порядка. «Человечество — это сырой материал, поддающийся моей созидающей воле; даже когда люди страдают и умирают, они возносятся этой волей на такую высоту, на которую они никогда не смогли подняться, не будь моего насильственного, но творческого, вторжения в их жизни. Это аргумент, используемый каждым диктатором, инквизитором и насильником, который ищет моральных и даже эстетических оправданий своих действий», — писал И. Берлин [9] . Таким образом, отношения интеллектуалов и власти мучительны — они не могут жить друг без друга, но и ужиться не могут. Интеллектуалы глубоко переживают невнимание власти, но и не приемлют сотрудничества с ней. Такого рода отчуждение становится нормой интеллектуального этоса. Вероятно, убеждение интеллектуалов в том, что отчуждение от власти представляет собой самоценность, коренится в традициях романтического индивидуализма [10].

«Форсированная моральность отчуждения» определяет оппозиционное отношение интеллектуалов к политической власти и нетерпимость к социальным порядкам. В 1960-е годы сообщество советских интеллектуалов было существенно дифференцировано на тех, кто был вовлечен в обслуживание власти (сохраняя в то же время критическую дистанцию по отношению к ней) и «отстраненный» сегмент. Эта дифференциация выражалась в оценке власти, с одной стороны, как аморальной, одиозной и неприемлемой («власть отвратительна как руки брадобрея»), с другой — как неизбежного, но поддающегося исправлению зла. Не вполне ясно, как отражалась эта дифференциация на распределении ресурсов, но «соглашатели» получали дополнительные возможности статусного продвижения. Конфликт между двумя сегментами интеллектуального сообщества (ангажированными и отчужденными) выражался в острой полемике по поводу вещей, казалось бы, не имеющих прямого отношения к власти, например, по вопросам эстетики, искренности в литературе, сюжетного материала. Равным образом дифференцировался тематический репертуар общественных наук: «проблема человека» соотносилась с отстраненной позицией автора, а социетальная тематика связывалась с человеком иерархическим. Дифференциация тематического репертуара достаточно отчетливо отражала дифференциацию «мыслительных позиций» советских интеллектуалов: на одном полюсе воображаемой шкалы локализуются, например, научный коммунизм и исторический материализм, на другом — социология и семиотика.

Н. Хомский акцентирует внимание на «новых мандаринах», которые в 1960-е годы сотрудничали с правительством в качестве академических экспертов и тем самым приобретали власть и влияние [11] . Принимая аксиому о коллективной ответственности интеллектуалов, он полагает, будто все то, над чем работали «новые мандарины», было так или иначе направлено на обслуживание интересов правительства. В 1960-е годы для многих западных интеллектуалов в качестве средоточия зла выступал «мировой империализм» и «коммунистический тоталитаризм». Мыслительные позиции определялись отношением к «злу» независимо от его полюса. Наоборот, ненависть к «империализму» почти автоматически влекла за собой симпатию к стране Советов и вынуждала их не видеть очевидного. Рассуждения Хомского основаны на предположении о трех типах позиций, которые занимают интеллектуалы по отношению к власти. Первая позиция — позиция независимости от власти которая, по определению, ведет к коррупции интеллектуалов, которые должны наблюдать и оценивать общество, будучи независимыми от него. Вторая позиция предусматривает, что отстранение от власти имеет несомненные преимущества, одно вполне допустимо ограниченное сотрудничество с ней. В такой — промежуточной — ситуации интеллектуал принимает на себя обязательство «дрессировать» и просвещать власть, опять же занимая стороннюю позицию. Последователи третьей стратегии полагают, что интеллектуалы ни при каких обстоятельствах не должны сотрудничать с «плохими» политическими режимами, и в то же время ничто не препятствует им работать на «хорошую» власть, признающую их мастерство и способности. В данном случае проблема осложняется тем, что определение власти как хорошей или плохой является не столько условием, сколько следствием сотрудничества. В 1930-е годы многие западные интеллектуалы считали возможным сотрудничество с коммунистическими режимами, одновременно занимая критическую позицию по отношению к Западу. Равным образом вызывал симпатии университетского сообщества нацистский режим в Германии 20-х — 30-х годов, где Третий Рейх воспринимался как рай на земле. Не без влияния сменовеховской доктрины сталинский режим интерпретировался многими интеллектуалами как воплощение народной правды и справедливости. Экзистенциальное объяснение приверженности «политических пилигримов» подобным режимам заключается в том, что они дают практический ответ на вопросы, поставленные интеллектуалами [12] .

Среди факторов, объясняющих отношение интеллектуалов к власти, отмечается не находящее выхода напряжение между их элитизмом и эгалитаризмом. Декларация идеи равенства рано или поздно входит в конфликт с установкой на принадлежность особой группе посвященных. Стремление интеллектуалов к власти отчасти вытекает из убежденности в своем высоком предназначении как легитиматоров социальных порядков и общественных ценностей. Подобное чувство особого предназначения усиливается, когда элитарное самосознание подкрепляется определенными формами сертификации и социального признания. Парадоксально, что многие наиболее критично настроенные интеллектуалы получают признание общества, ценности которого они принципиально отвергают. Они имеют высокий социальный статус, пользуются привилегиями, получают большое вознаграждение. Подобное признание, повышая самооценку интеллектуала, обостряет позиционный конфликт между эгалитарными ценностями и чувством превосходства над массой и ее вождями. Напряжение между исповедуемым эгалитаризмом и элитизмом особенно характерно для революционных ситуаций. Преодоление амбивалентности находит выражение в массовых мероприятиях, парадах, демонстрациях, музыке и литературе, артикулирующих экстатическое слияние вождя и массы. Так осуществляется синтез власти и подчинения. Здесь же коренится содержащая определенную театральность идея «служения народу». Масса может представлять собой стремящегося к истине пролетария, цветные меньшинства, молодежь. Наиболее существенный признак массы — «простой народ», ожидающий просвещения и руководства. Во всех случаях «масса» и «народ» остаются для интеллектуала социологическими категориями, перифразом аутентичности, простоты, невинности и нереализованной силы.

Батыгин Геннадий Семенович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН. Адрес: 117218 Москва, ул. Кржижановского, 24/35, строение 5. Телефон: (095) 120-82-57. Электронная почта: batygin@isras.rssi.ru

**Список литературы**

[1] Dunham V. In Stalin’s time: Middle class values in Soviet fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 4.

[2] Шепилов Д.Т. Воспоминания // Вопросы истории. 1988. № 5. С. 4-7.

[3] АРАН. Ф.1922. Оп.1. Д.835. Л.18.

[4] Литература по философии и социологии за 1956 год // Вопросы философии. 1957. N6. СС.211-215.

[5] Федотов Г.П. Сталинократия // Федотов Г.П. О святости, интеллигенции и большевизме: Избр. статьи. Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского унниверситета, 1994. С. 131-132.

[6] Дарнтон Р. Высокое Просвещение и литературные низы в предреволюционной Франции // Новое литературное обозрение. Вып. 37. 1999. № 3. С. 37-51.

[7] Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. Benson: Khronika Press, 1984. С. 243-244.

[8] По-большевистски овладеть марксизмом-ленинизмом // Под знаменем марксизма. 1938. № 11. С. 39.

[9] Berlin I. Four essays on liberty. New York, 1969. P. 150-151.

[10] Hofstedter R. Anti-Intellectualism in American life. New York, 1962.

[11] Chomsky N. American power and the New Mandarins. New York, 1967.

[12] Hollander P. Political Pilgrims: Travels of Western intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba, 1928-1978. New York: Oxford University Press, 1981. P. 58.